

Михаил Лермонтов

Сашка



Михаил Юрьевич Лермонтов

Сашка

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175928*

Аннотация

«Наш век смешон и жалок, – всё пиши
Ему про казни, цепи да изгнания,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страданья...»

Содержание

Глава I	10
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25
17	26
18	27
19	28
20	29
21	30
22	31

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

49	58
50	59
51	60
52	61
53	62
54	63
55	64
56	65
57	66
58	67
59	68
60	69
61	70
62	71
63	72
64	73
65	74
66	75
67	76
68	77
69	78
70	79
71	80
72	81
73	82
74	83

75	84
76	85
77	86
78	87
79	88
80	89
81	90
82	91
83	92
84	93
85	94
86	95
87	96
88	97
89	98
90	99
91	100
92	101
93	102
94	103
95	104
96	105
97	106
98	107
99	108
100	109

101	110
102	111
103	112
104	113
105	114
106	115
107	116
108	117
109	118
110	119
111	120
112	121
113	122
114	123
115	124
116	125
117	126
118	127
119	128
120	129
121	130
122	131
123	132
124	133
125	134
126	135

127	136
128	137
129	138
130	139
131	140
132	141
133	142
134	143
135	144
136	145
137	146
138	147
139	148
140	149
141	150
142	151
143	152
144	153
145	154
146	155
147	156
148	157
149	158
Глава II	159
1	159
2	160

3	161
4	162
5	163
6	164
7	165
8	166
9	167
Примечания	168

**Михаил Юрьевич
Лермонтов
Сашка
*нравственная поэма***

Глава I

1

Наш век смешон и жалок, – всё пиши
Ему про казни, цепи да изгнания,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страдания.
Такие вещи очень хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто дни свои в воспоминаньях губит.
Впадал я прежде в эту слабость сам,
И видел от нее лишь вред глазам;
Но нынче я не тот уж, как бывало, —
Пою, смеюсь. – Герой мой добрый малый.

2

Он был мой друг. С ним я не знал хлопот,
С ним чувствами и деньгами делился;
Он брал на месяц, отдавал чрез год,
Но я за то ни мало не сердился
И поступал не лучше в свой черед;
Печален ли, бывало, тотчас скажет,
Когда же весел, счастлив – глаз не кажет.
Не раз от скуки он свои мечты
Мне поверял и говорил мне *ты*;
Хвалил во мне, что прочие хвалили,
И был мой вечный визави в кадрили.

3

Он был мой друг. Уж нет таких друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Пусть спит оно в земле чужих полей,
Не тронута никем, как дружба наша,
В немом кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоём,
Когда глаза сомкнулись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших не понял ни единый.

4

И было ль то привет стране родной,
Название ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга —
Как разгадать? Что может в час такой
Наполнить сердце, жившее так много
И так недолго с смутною тревогой?
Один лишь друг умел тебя понять
И ныне может, должен рассказать
Твои мечты, дела и приключения —
Глупцам в забаву, мудрым в поученье.

5

Будь терпелив, читатель милый мой!
Кто б ни был ты: внук Евы иль Адама,
Разумник ли, шалун ли молодой, —
Картина будет; это – только рама!
От правил, утвержденных стариной,
Не отступлю, – я уважаю строго
Всех стариков, а их теперь так много...
Не правда ль, кто не стар в осьмнадцать лет
Тот, верно, не видал людей и свет,
О наслажденьях знает лишь по слухам
И предан был учителям да мукам.

6

Герой наш был москвич, и потому
Я враг Неве и невскому туману.
Там (я весь мир в свидетели возьму)
Веселье вредно русскому карману,
Заняття вредны русскому уму.
Там жизнь грязна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.
Москва – не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.
Там я впервые в дни надежд и счастья
Был болен от любви и любострастья.

7

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и – обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

8

Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой —
Заветное преданье поколений.

Бывало, я у башни угловой
Сажу в тени, и солнца луч осенний
Играет с мохом в трещине сырой,
И из гнезда, прикрытого карнизом,
Касатки вылетают, верхом, низом
Кружатся, вьются, чуждые людей.
И я, так полный волею страстей,
Завидовал их жизни безызвестной,
Как упование вольной, поднебесной.

9

Я не философ – боже сохрани! —
И не мечтатель. За полетом пташки
Я не гонюсь, хотя в былые дни
Не вовсе чужд был глупой сей замашки.
Ну, муза, – ну, скорее, – разверни
Запачканный листок свой подорожный!..
Не завирайся, – тут зоил безбожный...
Куда теперь нам ехать из Кремля?
Ворот ведь много, велика земля!
Куда? – «На Пресню погоняй, извозчик!» —
«Старуха, прочь!.. Сворачивай, разносчик!»

10

Луна катится в зимних облаках,
Как щит варяжский или сыр голландской.
Сравненье дерзко, но люблю я страх
Все дерзости, по вольности дворянской.
Спокойствия рачитель на часах
У будки пробудился, восклицая:
«Кто едет?» – «Муза!» – «Что за чорт! Какая?»
Ответа нет. Но вот уже пруды...
Белеет мост, по сторонам сады
Под инеем пушистым спят унылы;
Луна сребрит железные перилы.

Гуляка праздный, пьяный молодец,
С осанкой важной, в фризовой шинели,
Держась за них, бредет – и вот конец
Перилам. – «Всё направо!» – Заскрипели
Полозья по сугробам, как резец
По мрамору... Лачуги, цепью длинной
Мелькая мимо, кланяются чинно...
Вдали мелькнул знакомый огонек...
«Держи к воротам... Стой, – сугроб глубок!..
Пойдем по снегу, муза, только тише
И платье подними как можно выше».

12

Калитка – скрип... Двор темен. По доскам
Идти неловко... Вот, насилу, сени
И лестница; но снегом по местам
Занесена. Дрожащие ступени
Грозят мгновенно изменить ногам.
Взошли. Толкнули дверь – и свет огарка
Ударил в очи. Толстая кухарка,
Прищурясь, заграждает путь гостям
И вопрошает: «Что угодно вам?»
И, услышав ответ красноречивый,
Захлопнув дверь, бранится неучтиво...

13

Но, несмотря на это, мы взойдем:
Вы знаете, для музы и поэта,
Как для хромого беса, каждый дом
Имеет вход особый; ни секрета,
Ни запрещенья нет для нас ни в чем...
У столика, в одном углу светлицы,
Сидели две... девицы – не девицы...
Красавицы... названье тут как раз!..
Чем выгодней, узнать прошу я вас
От наших дам, в деревне и столице
Красавицею быть или девицей?

14

Красавицы сидели за столом,
Раскладывая карты, и гадали
О будущем. И ум их видел в нем
Надежды (то, что мы и все видали).
Свеча горела трепетным огнем,
И часто, вспыхнув, луч ее мгновенный
Вдруг обливал и потолок и стены.
В углу переднем фольга образов
Тогда меняла тысячу цветов,
И верба, наклоненная над ними,
Блистая вдруг листьями золотыми.

15

Одна из них (красавиц) не вполне
Была прекрасна, но зато другая...
О, мы таких видали лишь во сне,
И то заснув – о небесах мечтая!
Слегка головку приклонив к стене
И устремив на столик взор прилежный,
Она сидела несколько небрежно.
В ответ на речь подруги иногда
Из уст ее пустое «нет» или «да»
Едва скользило, если предсказанья
Премудрой карты стоили вниманья.

16

Она была затейливо мила,
Как польская затейливая панна;
Но вместе с этим гордый вид чела
Казался ей приличен. Как Сусанна,
Она б на суд неправедный пошла
С лицом холодным и спокойным взором;
Такая смесь не может быть укором.
В том вы должны поверить мне в кредит,
Тем боле, что отец ее был жид,
А мать (как помню) полька из-под Праги...
И лжи тут нет, как в том, что мы – варяги.

17

Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкой гулял
В мундире польском вдоль по бастионам,
Неловкий выстрел в лоб ему попал.
И многие, вздохнув, сказали: «Жалкой,
Несчастный жид, – он умер не под палкой!»
Его жена пять месяцев спустя
Произвела на божий свет дитя,
Хорошенькую Тирзу. Имя это
Дано по воле одного корнета.

Под рубищем простым она росла
В невежестве, как травка полевая
Проходим не замечена, – ни зла,
Ни гордой добродетели не зная.
Но час настал, – пора любви пришла.
Какой-то смертный ей сказал два слова:
Она в объятия божества земного
Упала; но увы, прошло дней шесть,
Уж полубог успел ей надоесть;
И с этих пор, чтоб избежать ошибки,
Она дарила всем свои улыбки...

Мечты любви умчались, как туман.
Свобода стала ей всего дороже.
Обманом сердце платит за обман
(Я так слышал, и вы слышали тоже).
В ее лице характер южных стран
Изображался резко. Не наемный
Огонь горел в очах; без цели, томно,
Покрыты светлой влагой, иногда
Они блуждали, как порой звезда
По небесам блуждает, – и, конечно,
Был это знак тоски немой, сердечной.

20

Безвестная печаль сменялась вдруг
Какою-то веселостью недужной...
(Дай бог, чтоб всех томил такой недуг!)
Волной вставала грудь, и пламень южный
В ланитах рделся, белый полукруг
Зубов жемчужных быстро открывался;
Головка поднималась, развивался
Душистый локон, и на лик молодой
Катился лоснясь черною струей;
И ножка, разрезвась, не зная плена,
Бесстыдно обнажалась до колена.

Когда шалунья навзничь на кровать,
Шутя, смеясь, роскошно упадала,
Не спорю, мудрено ее понять, —
Она сама себя не понимала, —
Ей было трудно сердцу приказать,
Как баловню ребенку. Надо было
Кому-нибудь с неведомою силой
Явиться и приветливой душой
Его согреть... Явился ли герой,
Или вотще остался ожидаем,
Всё это мы со временем узнаем.

Теперь к ее подруге перейдем,
Чтоб выполнить начатую картину.
Они недавно жили тут вдвоем,
Но души их сливались во едину,
И мысли их встречались во всем.
О, если б знали, сколько в этом званье
Сердец отличных, добрых! Но вниманье
Увлечено блистаньем модных дам.
Вздыхая, мы бежим по их следам...
Увы, друзья, а наведите справки,
Вся прелесть их... в кредит из модной лавки!

Она была свежа, бела, кругла,
Как снежный шарик; щеки, грудь и шея,
Когда она смеялась или шла,
Дрожали сладострастно; не краснея,
Она на жертву прихоти несла
Свои красы. Широко и неловко
На ней сидела юбка; но плутовка
Поднять умела грудь, открыть плечо,
Ласкать умела буйно, горячо
И, хитро передразнивая чувства,
Слыла царицей своего искусства...

Она звалась Варюшею. Но я
Желал бы ей другое дать названье:
Скажу ль, при этом имени, друзья,
В груди моей шипит воспоминанье,
Как под ногой прижатая змея;
И ползает, как та среди развалин,
По жилам сердца. Я тогда печален,
Сердит, – молчу или браню весь дом,
И рад прибить за слово чубуком.
Итак, для избежанья зла, мы нашу
Варюшу здесь перекрестим в Парашу.

25

Увы, минувших лет безумный сон
Со смехом повторить не смеет лира!
Живой водой печали окроплен,
Как труп давно застывшего вампира,
Грозя перстом, поднялся молча он,
И мысль к нему прикована... Ужели
В моей груди изгладить не успели
Столь много лет и столько мук иных —
Волшебный стан и пару глаз больших?
(Хоть, признаюсь вам, разбирая строго,
Получше их видал я после много.)

Да, много лет и много горьких мук
С тех пор отяготело надо мною;
Но первого восторга чудный звук
В груди не умирает, – и порою,
Сквозь облако забот, когда недуг
Мой слабый ум томит неугомонно,
Ее глаза мне светят благосклонно.
Так в час ночной, когда гроза шумит
И бродят облака, – звезда горит
В дали эфирной, не боясь их злости,
И шлет свои лучи на землю в гости.

Пред нагоревшей сальною свечой
Красавицы раздумавшись сидели,
И заставлял их вздрагивать порой
Унылый свист играющей метели.
И как и вам, читатель милый мой,
Им стало скучно... Вот, на место знака
Условного, залаяла собака,
И у калитки брякнуло кольцо.
Вот чей-то голос... Идут на крыльцо...
Параша потянулась и зевнула
Так, что едва не бухнулась со стула,

А Тирза быстро выбежала вон,
Открылась дверь. В плаще, закидан снегом,
Явился гость... Насмешливый поклон
Отвесил и, как будто долгим бегом
Или волнением был он утомлен,
Упал на стул... Заботливой рукою
Сняла Параша плащ, потом другую
Стряхнула иней с шелковых кудрей
Пришельца. Видно, нравился он ей...
Всё нравится, что молодо, красиво,
И в чем мы видим прибыль особливо.

Он ловок был, со вкусом был одет,
Изящно был причесан и так дале.
На пальцах перстни изливали свет,
И галстук надушен был, как на бале.
Ему едва ли было двадцать лет,
Но бледностью казались покрыты
Его чело и нежные ланиты, —
Не знаю, мук ли то последних след,
Но мне давно знаком был этот цвет, —
И на устах его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блуждала.

Заметно было в нем, что с ранних дней
В кругу хорошем, то есть в модном свете,
Он обжился, что часть своих ночей
Он убивал бесплодно на паркете
И что другую тратил не умней...
В глазах его открытых, но печальных,
Нашли бы вы без наблюдений дальних
Презренье, гордость; хоть он не был горд,
Как глупый турок иль богатый лорд,
Но всё-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих.

Борьба рождает гордость. Воевать
С людскими предрассудками труднее,
Чем тигров и медведей поражать,
Иль со штыком на вражьей батарее
За белый крестик жизнью рисковать...
Клянусь, иметь великий надо гений,
Чтоб разом сбросить цепь предубеждений,
Как сбросил бы я платье, если б вдруг
Из севера всевышний сделал юг.
Но ныне нас противное пугает:
Неаполь мерзнет, а Нева не тает.

Да кто же этот гость?.. Pardon, сейчас!..
Рассеянность... Monsieur, рекомендую:
Герой мой, друг мой – Сашка!.. Жаль для вас,
Что случай свел в минуту вас такую,
И в этом месте... Верьте, я не раз
Ему твердил, что эти посещения
О нем дадут весьма дурное мнение.
Я говорил, – он слушал, он был весь
Вниманье... Глядь, а вечером уж здесь!..
И я нашел, что мне его исправить
Труднее в прозе, чем в стихах прославить.

Герой мой Сашка тихо развязал
Свой галстук... «Сашка» – старое название!
Но «Сашка» тот печати не видал
И незрелый он угас в изгнание.
Мой Сашка меж друзей своих не знал
Другого имя, – дурно ль, хорошо ли,
Разуверять друзей не в нашей воле.
Он галстук снял, рассеянно перстом
Провел по лбу, поморщился, потом
Спросил: «Где Тирза?» – «Дома». – «Что ж не
видно
Ее?» – «Уснула». – «Как ей спать не стыдно!»

И он поспешно входит в тот покой,
Где часто с Тирзой пламенные ночи
Он проводил... Всё полно тишиной
И сумраком волшебным; прямо в очи
Недвижно смотрит месяц золотой
И на стекле в узоры ледяные
Кидает искры, блески огневые,
И голубым сиянием стена
Игриво и светло озарена.
И он (не месяц, но мой Сашка) слышит,
В углу на ложе кто-то слабо дышит.

Он руку протянул, – его рука
Попала в стену; протянул другую, —
Ощупал тихо кончик башмачка.
Схватил потом и ножку, но какую?!..
Так миньютюрна, так нежна, мягка
Казалась эта ножка, что невольно
Подумал он, не сделал ли ей больно.
Меж тем рука всё далее ползет,
Вот круглая коленочка... и вот,
Вот – для чего смеетесь вы заране? —
Вот очутилась на двойном кургане...

Блаженная минута!.. Закипел
Мой Александр, склонившись к деве спящей.
Он поцелуй на грудь напечатлел
И стан ее обвил рукой дрожащей.
В самозабвеньи пылком он не смел
Дохнуть... Он думал: «Тирза дорогая!
И жизнь и чувствами играя,
Как ты, я чужд общественных связей, —
Как ты, один с свободой моей,
Не знаю в людях ни врага, ни друга, —
Живу, чтоб жить как ты, моя подруга!

«Судьба вчера свела случайно нас,
Случайно завтра разведет навечно, —
Не всё ль равно, что год, что день, что час,
Лишь только б я провел его беспечно?...»
И не сводил он ярких черных глаз
С своей жидовки и не знал, казалось,
Что резвое созданье притворялось.
Меж тем почла за нужное она
Проснуться и была удивлена,
Как надлежало... (Страх и удивленье
Для женщин в важных случаях спасенье.)

И, прежде потеряв глаза рукой,
Она спросила: «Кто вы?» – «Я, твой Саша!» —
«Неужто?.. Видишь, баловник какой!
Ступай, давно там ждет тебя Параша!..
Нет, надо разбудить меня... Постой,
Я отомщу». И за руку схватила
Его проворно и ... и укусила,
Хоть это был скорее поцелуй.
Да, мерзкий критик, что ты ни толкуй,
А есть уста, которые украдкой
Кусать умеют сладко, очень сладко!..

Когда бы Тирзу видел Соломон,
То верно б свой престол украсил ею, —
У ног ее и царство, и закон,
И славу позабыл бы... Но не смею
Вас уверять, затем, что не рожден
Владыкой, и не знаю, в низкой доле,
Как люди ценят вещи на престоле;
Но знаю только то, что Сашка мой
За целый мир не отдал бы порой
Ее улыбку, щечки, брови, глазки,
Достойные любой восточной сказки.

«Откуда ты?» – «Не спрашивай, мой друг!
Я был на бале!» – «Бал! а что такое?» —
«Невежда! это – говор, шум и стук,
Толпа глупцов, веселье городское, —
Наружный блеск, обманчивый недуг;
Кружатся девы, чванятся нарядом,
Притворствуют и голосом и взглядом.
Кто ловит душу, кто пять тысяч душ...
Все так невинны, но я им не муж.
И как ни уважаю добродетель,
А здесь мне лучше, в том луна свидетель».

Каким-то новым чувством смущена,
Его слова еврейка поглощала.
Сначала показалась ей смешна
Жизнь городских красавиц, но... сначала.
Потом пришло ей в мысль, что и она
Могла б кружиться ловко пред толпою,
Терзать мужчин надменной красотою,
В высокие смотреться зеркала
И уязвлять, но не желая зла,
Соперниц гордой жалостью, и в свете
Блистать, и ездить четверней в карете.

Она прижалась к юноше. Листок
Так жметя к ветке, бурю ожидая.
Стучало сердце в ней, как молоток,
Уста полураскрытые, пылая,
Шептали что-то. С головы до ног
Она горела. Груды молодые
Как персики являлись наливные
Из-под сорочки... Сашкина рука
По ним бродила медленно, слегка...
Но... есть во мне к стыдливости вниманье —
И целый час я пропущу в молчанье.

Всё было тихо в доме. Облака
Нескромный месяц дымкою одели,
И только раздавались изредка
Сверчка ночного жалобные трели;
И мышь в тени родного уголка
Скреблась в обои старые прилежно.
Моя чета, раскинувшись небрежно,
Покоилась, не думая о том,
Что небеса грозили близким днем,
Что ночь... Вы на веку своем едва ли
Таких ночей десяток насчитали...

Но Тирза вдруг молчанье прервала
И молвила: «Послушай, прочь все шутки!
Какая мысль мне странная пришла:
Что если б ты, откинув предрассудки
(Она его тут крепко обняла),
Что если б ты, мой милый, мой бесценный,
Хотел меня утешить совершенно,
То завтра, или даже в день иной
Меня в театр повез бы ты с собой.
Известно мне, всё для тебя возможно,
А отказать в безделице безбожно».

«Пожалуй!» – отвечал ей Саша. Он
Из слов ее расслушал половину, —
Его клонил к подушке сладкий сон,
Как птица клонит слабую тростину.
Блажен, кто может спать! Я был рожден
С бессонницей. В теченье долгой ночи
Бывало беспокойно бродят очи,
И жжет подушка влажное чело.
Душа грустит о том, что уж прошло,
Блуждая в мире вымысла без пищи,
Как лазарони или русский нищий...

И жадный червь ее грызет, грызет, —
Я думаю, тот самый, что когда-то
Терзал Саула; но порой и тот
Имел отраду: арфы звук крылатый,
Как ангела таинственный полет,
В нем воскрешал и слезы и надежды;
И опускались пламенные вежды,
С гармонией сливалась мечта,
И злобный дух бежал, как от креста.
Но этих звуков нет уж в поднебесной, —
Они исчезли с арфою чудесной...

И всё исчезнет. Верить я готов,
Что наш безлучный мир – лишь прах могильный
Другого, – горсть земли, в борьбе веков
Случайно уцелевшая и сильно
Заброшенная в вечный круг миров.
Светилы ей двоюродные братья,
Хоть носят шлейфы огненного платья,
И по сродству имеют в добрый час
Влиянье благотворное на нас...
А дай сойтись, так заварится каша, —
В кулачки, и... прощай планета наша.

И пусть они блестят до той поры,
Как ангелов вечерние лампы.
Придет конец воздушной их игры,
Печальная разгадка сей шарады...
Любил я с колокольни иль с горы,
Когда земля молчит и небо чисто,
Теряться взором в их цепи огнистой, —
И мнится, что меж ними и землей
Есть путь, давно измеренный душой, —
И мнится, будто на главу поэта
Стремятся вместе все лучи их света.

Итак, герой наш спит, приятный сон,
Покойна ночь, а вы, читатель милый,
Пожалуйста, – иначе принужден
Я буду удержать вас силой ...
Роман, вперед!.. Не ўдет? – Ну, так он
Пойдет назад. Герой наш спит покуда,
Хочу я рассказать, кто он, откуда,
Кто мать его была, и кто отец,
Как он на свет родился, наконец,
Как он попал в позорную обитель,
Кто был его лакей и кто учитель.

Его отец – симбирский дворянин,
Иван Ильич NN-ов, муж дородный,
Богатого отца любимый сын.
Был сам богат; имел он ум природный
И, что ума полезней, важный чин;
С четырнадцати лет служил и с миром
Уволен был в отставку бригадиром;
А бригадир блаженных тех времен
Был человек, и следственно умен.
Иван Ильич наш слыл по крайней мере
Любезником в своей симбирской сфере.

Он был врагом писателей и книг,
В делах судебных почерпнул познания.
Спал очень долго, ел за четверых;
Ни на кого не обращал вниманья
И не носил приличия вериг.
Однако же пред знатью горделивой
Умел он гнуться скромно и учтиво.
Но в этот век учтивости закон
Для исполненья требовал поклон;
А кланяться закону иль вельможе
Считалось тогда одно и то же.

Он старших уважал, зато и сам
Почтительность вознаграждал улыбкой
И, ревностный хотя угодник дам,
Женился, по словам его, ошибкой.
В чем он ошибся, не могу я вам
Открыть, а знаю только (не соврать бы),
Что был он грустен на другой день свадьбы,
И что печаль его была одна
Из тех, какими жизнь мужей полна.
По мне они большие эгоисты, —
Всё жен винят, как будто сами чисты.

Благодари меня, о женский пол!
Я – Демосфен твой: за твою свободу
Я рад шуметь; я непомерно зол
На всю, на всю рогатую породу!
Кто власть им дал?.. Восстаньте, – час пришел!¹
Конец всему есть! Беззаботно, явно
Идите вслед за Марьей Николавной!
Понять меня, я знаю, вам легко,
Ведь в ваших жилах – кровь, не молоко,
И вы краснеть умеете уж кстати
От взоров и намеков нашей братьи.

¹ Во всех известных списках за этим стихом следуют строки: Я поднимаю знамя возмущенья. Ура! Сюда все девы! Прочь терпенье! Эти два стиха выводятся из основного текста как вариант стихов 578–579. Одиннадцатистрочная строфа у Лермонтова не может содержать 13 строк. Из четырех смежных стихов с женскими рифмами два включены в строфу ошибочно. Оставляем в тексте наиболее вероятную из двух параллельных пар стихов.

Иван Ильич стерег жену свою
По старому обычаю. Без лести
Сказать, он вел себя, как я люблю,
По правилам тогдашней старой чести.
Проказница ж жена (не утаю)
Читать любила жалкие романы
Или смотреть на светлый шар Дианы,
В беседке темной сидя до утра.
А месяц и романы до добра
Не доведут, – от них мечты родятся...
А искушенью только бы добраться!

Она была прелакомый кусок
И многих дум и взоров стала целью.
Как быть: пчела садится на цветок,
А не на камень; чувствам и веселью
Казенных не назначено дорог.
На брачном ложе Марья Николавна
Была, как надо, ласкова, исправна.
Но, говорят (хоть, может быть, и лгут),
Что долг супруги – только лишний труд.
Мужья у жен подобных (не в обиду
Будь сказано), как вывеска для виду.

Иван Ильич имел в Симбирске дом
На самой на горе, против собора.
При мне давно никто уж не жил в нем,
И он дряхлел, заброшен без надзора,
Как инвалид, с георгиевским крестом.
Но некогда, с кудрявыми главами,
Вдоль стен колонны высились рядами.
Прозрачную решеткой окружен,
Как клетка, между них висел балкон,
И над дверьми стеклянными в порядке
Виднелися гардин прозрачных складки.

Внутри всё было пышно; на столах
Пестрели разноцветные клеенки,
И люстры отражались в зеркалах,
Как звезды в луже; моськи и болонки
Встречали шумно каждого в дверях,
Одна другой несноснее, а дале
Зеленый попугай, порхая в зале,
Кричал бесстыдно: «Кто пришел?.. Дурак!»
А гость с улыбкой думал: «как не так!»
И, ласково хозяйкой принимаем,
Через пять минут мирился с попугаем.

Из окон был прекрасный вид кругом:
Налево, то есть к западу, рядами
Блестали кровли, трубы и потом
Меж ними церковь с круглыми главами,
И кое-где в тени – отрада днем —
Уютный сад, обсаженный рябиной,
С беседкою, цветами и малиной,
Как детская игрушка, если вам
Угодно, или как меж знатных дам
Румяная крестьянка – дочь природы,
Испуганная блеском гордой моды.

Под глинистой утесистой горой,
Униженной лачужками, направо,
Катилася широкой пеленой
Родная Волга, ровно, величаво...
У пристани двойною чередой
Плоты и барки, как табун, теснились,
И флюгера на длинных мачтах бились,
Жужжа на ветре, и скрипел канат
Натянутый; и серой мглой объят,
Виднелся дальний берег, и белели
Вкруг острова края песчаной мели.

Нестройный говор грубых голосов
Между судов перебегал порою;
Смех, песни, брань, протяжный крик пловцов —
Всё в гул один сливалось над водою.
И Марья Николавна, хоть суров
Казался ветер, и день был на закате,
Накинув шаль или капот на вате,
С французской книжкой, часто, сев к окну,
Следила взором сизую волну,
Прибрежных струй приливы и отливы,
Их мерный бег, их золотые гривы.

Два года жил Иван Ильич с женой,
И всё не тесны были ей корсеты.
Ее ль сложенье было в том виной,
Или его немолодые леты?..
Не мне в делах семейных быть судьей!
Иван Ильич иметь желал бы сына
Законного: хоть правом дворянина
Он пользовался часто, но детей,
Вне брака прижитых, злодей,
Раскидывал по свету, где случится,
Страшась с своей деревней породниться.

Какая сладость в мысли: я отец!
И в той же мысли сколько муки тайной —
Оставить в мире след и наконец
Исчезнуть! Быть злодеем, и случайно, —
Злодеем потому, что жизнь – венец
Терновый, тяжкий, – так по крайней мере
Должны мы рассуждать по нашей вере...
К чему, куда ведет нас жизнь, о том
Не с нашим бедным толковать умом;
Но исключая два-три дня да детство,
Она, бесспорно, скверное наследство.

Бывало, этой думой удручен,
Я прежде много плакал и слезами
Я жег бумагу. Детский глупый сон
Прошел давно, как туча над степями;
Но пылкий дух мой не был освежен,
В нем родилися бури, как в пустыне,
Но скоро улеглись они, и ныне
Осталось сердцу, вместо слез, бурь тех,
Один лишь отзыв – звучный, горький смех...
Там, где весной белел поток игривый,
Лежат кремни – и блещут, но не живы!

Прилично б было мне молчать о том,
Но я привык идти против приличий,
И, говоря всеобщим языком,
Не жду похвал. – Поэт породы птичей,
Любовник роз, над розовым кустом
Урчит и свищет меж листов душистых.
Об чем? Какая цель тех звуков чистых? —
Прошу хоть раз спросить у соловья.
Он вам ответит песнью... Так и я
Пишу, что мыслю, мыслю что придется,
И потому мой стих так плавно льется.

Прошло два года. Третий год
Обрадовал супругов безнадежных:
Желанный сын, любви взаимной плод,
Предмет забот мучительных и нежных,
У них родился. В доме весь народ
Был восхищен, и три дня были пьяны
Все на подбор, от кучера до няни.
А между тем печально у ворот
Всю ночь собаки выли напролет,
И, что страшнее этого, ребенок
Весь в волосах был, точно медвежонок.

Старухи говорили: это знак,
Который много счастья обещает.
И про меня сказали точно так,
А правда ль это вышло? – небо знает!
К тому же полуночный вой собак
И страшный шум на чердаке высоком —
Приметы злые; но не быв пророком,
Я только покачаю головой.
Гамлет сказал: «Есть тайны под луной
И для премудрых», – как же мне, поэту,
Не верить можно тайнам и Гамлету?..

Младенец рос милее с каждым днем:
Живые глазки, белые ручонки
И русый волос, вьющийся кольцом —
Пленяли всех знакомых; уж пеленки
Рубашечкой сменилися на нем;
И, первые проказы начиная,
Уж он дразнил собак и попугая...
Года неслись, а Саша рос, и в пять
Добро и зло он начал понимать;
Но, верно, по врожденному влеченью,
Имел большую склонность к разрушенью.

Он рос... Отец его бранил и сек —
Затем, что сам был с детства часто сечен,
А слава богу вышел человек:
Не стыд семьи, ни туп, ни изувечен.
Поняття были низки в старый век...
Но Саша с гордой был рожден душою
И желчного сложенья, – пред судьбою,
Перед бичом язвительной молвы
Он не склонял и после головы.
Умел он помнить, кто его обидел,
И потому отца возненавидел.

Великий грех!.. Но чем теплее кровь,
Тем раньше зреют в сердце беспокойном
Все чувства – злоба, гордость и любовь,
Как деревья под небом юга знойным.
Шалун мой хмурил маленькую бровь,
Встречаясь с нежным папенькой; от взгляда
Он вздрагивал, как будто б капля яда
Лилась по жилам. Это, может быть,
Смешно, – что ж делать! – он не мог любить,
Как любят все гостиные собачки
За лакомства, побои и подачки.

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили,
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что когда последнее лобзанье
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать,
И что отец, немного с ним поспоря,
Велел его посечь... (конечно, с горя).

Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомнению сердце предал
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный,
И в нем терялся мыслию послушной.
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
Ладьи к нему с гостями не пристанут,
Цветы на нем от зноя все увянут...

Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
Они так часто спорили с душой
И отравили лучших дней беспечность.
Они летали над его головой,
Как царская корона; но без власти
Венец казался бременем, и страсти,
Впервые пробудясь, живым огнем
Прожгли алтарь свой, не найдя кругом
Достойной жертвы, – и в пустыне света
На дружный зов не встретил он ответа.

О, если б мог он, как бесплотный дух,
В вечерний час сливаться с облаками,
Склонять к волнам кипучим жадный слух
И долго упиваться их речами,
И обнимать их перси, как супруг!
В глуши степей дышать со всей природой
Одним дыханьем, жить ее свободой!
О, если б мог он, в молнию одет,
Одним ударом весь разрушить свет!..
(Но к счастью для вас, читатель милый,
Он не был одарен подобной силой.)

Я не берусь вполне, как психолог,
Характер Саши выставить наружу
И вскрыть его, как с трюфлями пирог.
Скорей судьей молчаньем я принужу
К решению... Пусть суд их будет строг!
Пусть журналист всеведущий хлопочет,
Зачем тот плачет, а другой хохочет!..
Пусть скажет он, что бесом одержим
Был Саша, – я и тут согласен с ним,
Хотя, божусь, приятель мой, повеса,
Взбесил бы иногда любого беса.

Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess.² Педант полузабавный,
Имел он длинный нос и тонкий вкус
И потому брал деньги преисправно.
Покорный раб губернских дам и муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою
По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах он,
И, быв уверен в дамской благодати,
Не размышлял, что́ кстати, что́ не кстати.

² Маркиз де Тесс (Франц.)

Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного волнения:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украшения.
Приятель наш, парижский Адонис,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и народ,
И натошак отправился в поход,
И, наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять науки.

И Саша мой любил его рассказ
Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца... Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображенье:
Там слышал он святых голов паденье,
Меж тем как нищих буйный миллион
Кричал, смеясь: «Да здравствует закон!»
И в недостатке хлеба или злата,
Просил одной лишь крови у Марата.

Там видел он высокий эшафот;
Прелестная на звучные ступени
Всходила женщина... Следы забот,
Следы живых, но тайных угрызений
Виднелись на лице ее. Народ
Рукоплескал... Вот кудри золотые
Посыпались на плечи молодые;
Вот голова, носившая венец,
Склонилась на плаху... О, творец!
Одумайтесь! Еще момент, злодеи!..
И голова оторвана от шеи...

И кровь с тех пор рекою потекла,
И загремела жадная секира...
И ты, поэт, высокого чела
Не уберег! Твоя живая лира
Напрасно по вселенной разнесла
Всё, всё, что ты считал своей душою —
Слова, мечты с надеждой и тоскою...
Напрасно!.. Ты прошел кровавый путь,
Не отомстив, и творческую грудь
Ни стих язвительный, ни смех холодный
Не посетил – и ты погиб бесплодно...

И Франция упала за тобой
К ногам убийц бездушных и ничтожных.
Никто не смел возвысить голос свой;
Из мрака мыслей гибельных и ложных
Никто не вышел с твердою душой, —
Меж тем как втайне взор Наполеона
Уж зрел ступени будущего трона...
Я в этом тоне мог бы продолжать,
Но истина – не в моде, а писать
О том, что было двести раз в газетах,
Смешно, тем боле об таких предметах.

К тому же я совсем не моралист, —
Ни блага в зле, ни зла в добре не вижу,
Я палачу не дам похвальный лист,
Но клеветой героя не унижу, —
Ни плеск восторга, ни насмешки свист
Не созданы для мертвых. Царь иль воин,
Хоть он отличья иногда достоин,
Но верно нам за тяжкий мавзолей
Не благодарен в комнатке своей,
И, длинным одам внемля поневоле,
Зевая вспоминает о престоле.

Я прикажу, кончая дни мои,
Отнести свой труп в пустыню и высокий
Курган над ним насыпать, и – любви
Символ ненарушимый – одинокий
Поставить крест: быть может издали,
Когда туман протянется в долине,
Иль свод небес взбунтуется, к вершине
Гостеприимной нищий пешеход,
Его заметив, медленно придет,
И, отряхнувши посох, безнадежней
Вздохнет о жизни будущей и прежней —

И проклянет, склонясь на крест святой,
Людей и небо, время и природу, —
И проклянет грозы бессильный вой
И пылких мыслей тщетную свободу...
Но нет, к чему мне слушать плач людской?
На что мне черный крест, курган, гробница?
Пусть отдадут меня стихиям! Птица
И зверь, огонь и ветер, и земля
Разделят прах мой, и душа моя
С душой вселенной, как эфир с эфиром,
Сольется и развеется над миром!..

Пускай от сердца, полного тоской
И желчью тайных тщетных сожалений,
Подобно чаше, ядом налитой,
Следов не остается... Без волнений
Я выпил яд по капле, ни одной
Не уронил; но люди не видали
В лице моем ни страха, ни печали,
И говорили хладно: он привык.
И с той поры я облил свой язык
Тем самым ядом, и по праву мести
Стал унижать толпу под видом лестии...

Но кончим этот скучный эпизод
И обратимся к нашему герою.
До этих пор он не имел забот
Житейских и невинною душою
Искал страстей, как пищи. Длинный год
Провел он среди тетрадей, книг, историй,
Грамматик, географий и теорий
Всех философий мира. Пять систем
Имел маркиз, а на вопрос: зачем?
Он отвечал вам гордо и свободно:
«Monsieur, c'est mon affaire»³ – так мне угодно!

³ Сударь, это мое дело. (Франц.)

Но Саша не внимал его словам, —
Рассеянно в тетради над строками
Его рука чертила здесь и там
Какой-то женский профиль, и очами,
Горящими подобно двум звездам,
Он долго на него взирал и нежно
Вздыхал и хоронил его прилежно
Между листов, как тайный милый клад,
Залог надежд и будущих наград,
Как прячут иногда сухую травку,
Перо, записку, ленту иль булавку...

Но кто ж она? Что пользы ей вскружить
Неопытную голову, впервые
Сердечный мир дыханьем возмутить
И взволновать надежды огневые?
К чему?.. Он слишком молод, чтоб любить,
Со всем искусством древнего Фоблаза.
Его любовь, как снег вершин Кавказа,
Чиста, – тепла, как небо южных стран...
Ему ль платить обманом за обман?..
Но кто ж она? – Не модная вертушка,
А просто дочь буфетчика, Маврушка...

И Саша был четырнадцать лет.
Он привыкал (скажу вам под секретом,
Хоть важности большой во всем том нет)
Толкаться меж служанок. Часто летом,
Когда луна бросала томный свет
На тихий сад, на свод густых акаций,
И с шопотом толпа домашних граций
В аллее кралась, – легкою стопой
Он догонял их; и, шутя, порой,
Его невинность (вы поймете сами)
Они дразнили дерзкими перстами.

Но между них он отличал одну:
В ней было всё, что увлекает душу,
Волнует мысли и мешает сну.
Но я, друзья, покой ваш не нарушу
И на портрет накину пелену.
Ее любил мой Саша той любовью,
Которая по жилам с юной кровью
Течет огнем, клокочет и кипит.
Боролись в нем желание и стыд;
Он долго думал, как в любви открыться, —
Но надобно ж на что-нибудь решиться.

И мудрено ль? Четырнадцать лет
Я сам страдал от каждой женской рожи
И простодушно уверял весь свет,
Что друг на дружку все они похожи.
Волнующихся персей нежный цвет
И алых уст горячее дыханье
Во мне рождали чудные желанья;
Я трепетал, когда моя рука
Атласных плеч касалась слегка,
Но лишь в мечтах я видел без покрова
Всё, что для вас, конечно, уж не ново...

Он потерял и сон и аппетит,
Молчал весь день и бредил в ночь, бывало,
По коридору бродит и грустит,
И ждет, чтоб платье мимо прожужжало,
Чтоб ясный взор мелькнул... Суровый вид
Приняв, он иногда улыбкой хладной
Ответствовал на взор ее отрадный...
Любовь же неизбежна, как судьба,
А с сердцем страх невыгодна борьба!
Итак, мой Саша кончил с ним возиться
И положил с Маврушей объясниться.

Случилось это летом, в знойный день.
По мостовой широкими клубами
Вилася пыль. От труб высоких тень
Ложилася на крышах полосами,
И пар с камней струился. Сон и лень
Вполне Симбирском овладели; даже
Катилась Волга медленней и глаже.
В саду, в беседке темной и сырой,
Лежал полураздетый наш герой
И размышлял о тайне съединенья
Двух душ, – предмет достойный размышленья.

Вдруг слышит он направо, за кустом
Сирени, шорох платья и дыханье
Волнующейся груди, и потом
Чуть внятный звук, похожий на лобзанье.
Как Саше быть? Забилося сердце в нем,
Запрыгало... Без дальних опасений
Он сквозь кусты пустился легче тени.
Трещат и гнутся ветви под рукой.
И вдруг пред ним, с Маврушкой молодой
Обнявшись в тени цветущей вишни,
Иван Ильич... (Прости ему всевышний!)

Увы! покоясь на траве густой,
Проказник старый обнимал бесстыдно
Упругий стан под юбкою простой
И не жалел ни ножки миловидной,
Ни круглых персей, дышащих весной!
И долго, долго бился, но напрасно!
Огня и сил лишен уж был несчастный.
Он встал, вздохнул (нельзя же не вздохнуть),
Поправил брюхо и пустился в путь,
Оставив тут обманутую деву,
Как Ариадну, преданную гневу.

И есть за что, не спору... Между тем
Что делал Саша? С неподвижным взглядом,
Как белый мрамор холоден и нем,
Как Аббадона грозный, новым адом
Испуганный, но помнящий эдем,
С поникшею стоял он головою,
И на челе, наморщенном тоскою,
Качались тени трепетных ветвей...
Но вдруг удар проснувшихся страстей
Перевернул неопытную душу,
И он упал как с неба на Маврушу.

Упал! (прости невинность!). Как змея,
Маврушу крепко обнял он руками,
То холодея, то как жар горя,
Неистово впился в нее устами
И – обезумел... Небо и земля
Слились в туман. Мавруша простонала
И улыбнулась; как волна, вставала
И упала грудь, и томный взор,
Как над рекой безлучный метеор,
Блуждал вокруг без цели, без предмета,
Боясь всего: людей, деревьев и света...

Теперь, друзья, скажите напрямик,
Кого винить? ... По мне, всего прекрасней
Сложить весь грех на чорта, – он привык
К напраслине; к тому же безопасней
Рога и когти, чем иной язык...
Итак заметим мы, что дух незримый,
Но гордый, мрачный, злой, неотразимый
Ни ладаном, ни бранью, ни крестом,
Играл судьбою Саши, как мячом,
И, следуя пустейшему капризу,
Кидал его то вкось, то вверх, то книзу.

Два месяца прошло. Во тьме ночной,
На цыпочках по лестнице ступая,
В чепце, платок накинув шерстяной,
Являлась к Саше дева молодая;
Задув лампаду, трепетной рукой
Держась за спинку шаткую кровати,
Она искала жарких там объятий.
Потом, на мягкий пух привлечена,
Под одеяло пряталась она;
Тяжелый вздох из груди вырывался,
И в жарких поцелуях он сливался.

Казалось, рок забыл о них. Но раз
(Не помню я, в который день недели),—
Уж пролетел давно свиданья час,
А Саша всё один был на постели.
Он сел к окну в раздумьи. Тихо гас
На бледном своде месяц серебристый,
И неподвижно бахромой волнистой
Вокруг его висели облака.
Дремало всё, лишь в окнах изредка
Являлась свечка, силуэт рубчатый
Старухи, из картин Рембрандта взятый,

Мелькая, рисовался на стекле
И исчезал. На площади пустынной,
Как чудный путь к неведомой земле,
Лежала тень от колокольни длинной,
И даль сливалась в синеватой мгле.
Задумчив Саша... Вдруг скрипнули двери,
И вы б сказали – поступь райской пери
Послышалась. Невольно наш герой
Вздрагнул. Пред ним, озарена луной,
Стояла дева, опустивши очи,
Бледнее той луны – царицы ночи...

101

И он узнал Маврушу. Но – творец! —
Как изменилось нежное создание!
Казалось, тело изваял резец,
А бог вдохнул не душу, но страданье.
Она стоит, вздыхает, наконец
Подходит и холодными руками
Хватает руку Саши, и устами
Прижалась к ней, и слезы потекли
Всё больше, больше, и, казалось, жгли
Ее лицо... Но кто не зрел картины
Раскаянья преступной Магдалины?

И кто бы смел изобразить в словах,
Что дышит жизнью в красках Гвидо-Рени?
Гляжу на дивный холст: душа в очах,
И мысль одна в душе, – и на колени
Готов упасть, и непонятный страх,
Как струны лютни, потрясает жилы;
И слышишь близость чудной тайной силы,
Которой в мире верует лишь тот,
Кто как в гробу в душе своей живет,
Кто терпит все упреки, все печали,
Чтоб гением глупцы его назвали.

И долго молча плакала она.
Рассыпавшись на кругленькие плечи,
Ее власы бежали, как волна.
Лишь иногда отрывистые речи,
Отзыв того, чем грудь была полна,
Блуждали на губах ее; но звуки
Яснее были слов... И голос муки
Мой Саша понял, как язык родной;
К себе на грудь привлек ее рукой
И не щадил ни нежностей, ни ласки,
Чтоб поскорей добраться до развязки.

Он говорил: «К чему печаль твоя?
Ты молода, любима, – где ж страданье?
В твоих глазах – мой мир, вся жизнь моя,
И рай земной в одном твоём лобзанье...
Быть может, злобу хитрую тая,
Какой-нибудь... Но нет! И кто же смеет
Тебя обидеть? Мой отец дряхлеет,
Француз давно не годен никуда...
Ну, полно! слезы прочь, и ляг сюда!»
Мавруша, крепко Сашу обнимая,
Так отвечала, медленно вздыхая:

«Послушайте, я здесь в последний раз.
Пренебрегла опасность, наказание,
Стыд, совесть – всё, чтоб только видеть вас,
Поцеловать вам руки на прощанье
И выманить слезу из ваших глаз.
Не отвергайте бедную, – довольно
Уж я терплю, – но что же?.. Сердце вольно...
Иван Ильич проведаль от людей
Завистливых... Всё Ванька ваш, злодей, —
Через него я гибну... Всё готово!
Молю!.. о, киньте мне хоть взгляд, хоть слово!

«Для вашего отца впервые я
Забыла стыд, – где у рабы защита?
Грозил он ссылкой, бог ему судья!
Прошла неделя, – бедная забыта...
А всё любить другого ей нельзя.
Вчера меня обидными словами
Он разобрал... Но что же перед вами?
Раба? игрушка!.. Точно: день, два, три
Мила, а там? – пожалуй, хоть умри!..»
Тут начались слезы, восклицанья,
Но Саша их оставил без вниманья.

«Ах, барин, барин! Вижу я, понять
Не хочешь ты тоски моей сердечной!..
Прощай, – тебя мне больше не видать,
Зато уж помнить буду вечно, вечно...
Виновны оба, мне ж должно страдать.
Но, так и быть, целуй меня в грудь, в очи, —
Целуй, где хочешь, для последней ночи!..
Чем свет меня в кибитке увезут
На дальний хутор, где Маврушу ждут
Страданья и мужик с косматой бороною...
А ты? – вздохнешь и слюбишься с другою!»

Она заплакала. Так или нет
Изгнанница молодая говорила,
Я утверждать не смею; двух, трех лет
Достаточно губительная сила,
Чтобы святейших слов загладить след.
А тот, кто рассказал мне повесть эту, —
Его уж нет... Но что за нужда свету?
Не веры я ищу, — я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток,
Где свиньи и вино так ныне редки,
И где, как пишут, жили наши предки!

Она замолкла, но не Саша: он
Кипел против отца негодованьем:
«Злодей! тиран!» – и тысячу имен,
Таких же милых, с истинным вниманьем,
Он расточал ему. Но счастья сон,
Как ни бранись, умчался невозвратно...
Уже готов был юноша развратный
В последний раз на ложе пуховом
Вкусить восторг, в забытии немом
Уж и она, пылая в расслабленье
Раскинулась, как вдруг – о, провиденье! —

Удар ногою с треском растворил
Стеклянной двери обе половины,
И ночника луч бледный озарил
Живой скелет вошедшего мужчины.
Казалось, в страхе с ложа он вскочил, —
Растрепан, босиком, в одной рубашке, —
Вошел и строго обратился к Сашке:
«Eh bien, monsieur, que vois-je?» – «Ah, c'est vous!»
«Pourquoi ce bruit? Que faites-vous donc?» – «Je
f<..>!»⁴
И, молвив так (пускай простит мне муза),
Одним тюзом он выгнал вон француза.

⁴ «Ну, сударь, что я вижу?» – «Ах, это вы!» «Что это за шум? Что вы делаете?» – «Я <...>!» (Франц.)

И вслед за ним, как лань кавказских гор,
Из комнаты пустилася бедняжка,
Не распротясь, но кинув нежный взор,
Закрыв лицо руками... Долго Сашка
Не мог унять волненье сердца. «Вздор, —
Шептал он, – вздор: любовь не жизнь!» Но утро
Подернув тучки блеском перламутра,
Уж начало заглядывать в окно,
Как милый гость, ожидаемый давно,
А на дворе, унылый и докучный,
Раздался колокольчик однозвучный.

К окну с волнением Сашка подбежал:
Разгонных тройка у крыльца большого.
Вот сел ямщик и вожжи подобрал;
Вот чей-то голос: «Что же, всё готово?»
– «Готово». – Вот садится... Он узнал:
Она!.. В чепце, платком окутав шею,
С обычной улыбкою своею,
Ему кивнула тихо головой
И спряталась в кибитку. Бич лихой
Взвился. «Пошел!»... Колесы застучали...
И в миг... Но что нам до чужой печали?

Давно ль?.. Но детство Саши протекло.
Я рассказал, что знать вам было нужно...
Он стал с отцом браниться: не могло
И быть иначе, – нежностью наружной
Обманывать он почитал за зло,
За низость, – но правдивой мести знаки
Он не щадил (хотя б дошло до драки).
И потому родитель, рассчитав,
Что укрощать не стоит этот нрав,
Сынка, рыдая, как мы все умеем,
Послал в Москву с французом и лакеем.

И там проказник был препоручен
Старухе-тетке самых строгих правил.
Свет утверждал, что резвый Купидон
Ее краснеть ни разу не заставил.
Она была одна из тех княжен,
Которые, страшась святого брака,
Не смеют дать решительного знака
И потому в сомненьи ждут да ждут,
Покуда их на вист не позовут,
Потом остаток жизни, как умеют, —
За картами клеветуют и желтеют.

Но иногда какой-нибудь лакей,
Усердный, честный, верный, осторожный,
Имея вход к владычице своей
Во всякий час, с покорностью возможной,
В уютной спальне заменяет ей
Служанку, то есть греет одеяло,
Подушки, ноги, руки... Разве мало
Под мраком ночи делается дел,
Которых знать и чорт бы не хотел,
И если бы хоть раз он был свидетель,
Как сладко спит седая добродетель.

Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон —
Двусмысленная вещь; что добрый малый
Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Чуть умный – и забавен и сносей,
Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)
Он нажил в месяц сто врагов забавных.

И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилично,
С стальным замком и розовой каймой.
Любил он заговоры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань – насмешкой отвечать,
Иль, притворясь рассеянным невеждой,
Ласкать их долго тщетною надеждой.

Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча всё твердить азы да буки,
И, наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой среди трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят;
Уходит, – втрое хуже. Суший ад!..
По сердцу Сашке жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.

Пропустим года два... Я не хочу
В один прием свою закончить повесть.
Читатель знает, что я с ним шучу,
И потому моя спокойна совесть,
Хоть, признаюсь, много пропущу
Событий важных, новых и чудесных.
Но час придет, когда, в пределах тесных
Не заключен и не спеша вперед,
Чтоб сократить унылый эпизод,
Я снова обращаю внимание ваше
На те года, потраченные Сашей...

Теперь героев разбудить пора,
Пора привести в порядок их одежды.
Вы вспомните, как сладостно вчера
В объятьях неги и живой надежды
Уснула Тирза? Резвый бег пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась поздно...
Растрепанные волосы назад
Рукой откинув и на свой наряд
Взглянув с улыбкой сонною, сначала
Она довольно долго позевала.

На ней измято было всё, и грудь
Хранила знаки пламенных лобзаний.
Она спешит лицо водой сплеснуть
И кудри без особенных стараний
На голове гребенкою заткнуть;
Потом сорочку скинула, небрежно
Водюю обмывает стан свой нежный...
Опять свежа, как персик молодой.
И на плеча капот накинув свой,
Пленительна бесстыдной наготою,
Она подходит к нашему герою,

123

Садится в изголовьи и потом
На сонного студеной влагой плещет.
Он поднялся, кидает взор кругом
И видит, что пора: светелка блещет,
Озарена роскошным зимним днем;
Замерзших окон стекла серебрятся;
В лучах пылинки светлые вертятся;
Упругий снег на улице хрустит,
Под тяжестью полозьев и копыт,
И в городе (что мне всегда досадно),
Колокола трезвонят беспощадно...

Прелестный день! Как пышен божий свет!
Как небеса лазурны!.. Торопливо
Вскочил мой Саша. Вот уж он одет,
Атласный галстук повязал лениво,
С кудрей ночных восторгов сгладил след;
Лишь синеватый венчик под глазами
Изобличал его... Но (между нами,
Сказать тихонько) это не порок.
У наших дам найти я то же б мог,
Хоть между тем ручаюсь головою,
Что их невинней нету под луною.

Из комнаты выходит наш герой,
И, пробираясь длинным коридором,
Он видит Катерину пред собой,
Приветствует ее холодным взором,
И мимо. Вот он в комнате другой:
Вот стул с дрожащей ножкою и рядом
Кровать; на ней, закрыта, кверху задом
Храпит Параша, отвернув лицо.
Он плащ надел и вышел на крыльцо,
И вслед за ним несутся восклицанья,
Чтобы не смел забыть он обещанья:

Чтоб приготовил модный он наряд
Для бедной, милой Тирзы, и так дале.
Сказать ли, этой выдумке был рад
Проказник мой: в театре, в пестрой зале
Заметят ли невинный маскарад?
Зачем еврейку не утешить тайно,
Зачем толпу не наказать случайно
Презреньем гордым всех ее причуд?
И что молва? – Глупцов крикливый суд,
Коварный шопот злой старухи, или
Два-три намека в польском иль в кадрили!

Уж Саша дома. К тетке входит он,
Небрежно у нее целует руку.
«Чем кончился вчерашний ваш бостон?
Я б не решился на такую скуку,
Хотя бы мне давали миллион.
Как ваши зубы?.. А Фиделька где же?
Она являться стала что-то реже.
Ей надоел наш модный круг, – увы,
Какая жалость!.. Знаете ли вы,
На этих днях мы ждем к себе комету,
Которая несет погибель свету?..

«И поделом, ведь новый магазин
Открылся на Кузнецком, – не угодно ль
Вам посмотреть?.. Там есть мамзель Aline,
Monsieur Dupré, Durand, француз природный,
Теперь купец, а бывший дворянин;
Там есть мадам Armand; там есть субретка
Fanchaux – плутовка, смуглая кокетка!
Вся молодежь вокруг ее вертится.
Мне ж всё равно, ей-богу, что случится!
И по одной значительной причине
Я только зритель в этом магазине.

«Причина эта вот – мой кошелек:
Он пуст, как голова француза, – малость
Истратил я; но это мне урок —
Ценить дешевле ветреную шалость!»
И, притворясь печальным сколько мог,
Шалун склонился к тетке, два-три раза
Вздыхнул, чтоб удалась его проказа.
Тихонько ларчик отперев, она
Заботливо дорылась до дна
И вынула три беленьких бумажки.
И... вы легко поймете радость Сашки.

Когда же он пришел в свой кабинет,
То у дверей с недвижностью примерной,
В чалме пунцовой, щегольски одет,
Стоял арап, его служитель верный.
Покрыт, как лаком, был чугунный цвет
Его лица, и ряд зубов перловых,
И блеск очей открытых, но суровых,
Когда смеялся он иль говорил,
Невольный страх на душу наводил;
И в голосе его, иным казалось,
Надменностью безумной отзывалось.

Союз довольно странный заключен
Меж им и Сашей был. Их разговоры
Казались таинственны, как сон;
Вдвоем, бывало, ночью, точно воры,
Уйдут и пропадают. Одарен
Соображеньем бойким, наш приятель
Восточных слов был страшный обожатель,
И потому «Зафиром» наречен
Его арап. За ним повсюду он,
Как мрачный призрак, следовал, и что же? —
Все восхищались этой скверной рожей!

Зафиру Сашка что-то прошептал.
Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег взял
Из белой ручки черною рукою;
Он долго у дверей еще стоял
И говорил всё время, по несчастью,
На языке чужом, и тайной страстью
Одушевлен казался. Между тем,
Облокотись на стол, задумчив, нем,
Герой печальный моего рассказа
Глядел на африканца в оба глаза.

И, наконец, он подал знак рукой,
И тот исчез быстрее китайской тени.
Проворный, хитрый, с смелою душой,
Он жил у Саши как служебный гений,
Домашний дух (по-русски домовой);
Как Мефистофель, быстрый и послушный,
Он исполнял безмолвно, равнодушно,
Добро и зло. Ему была закон
Лишь воля господина. Ведал он,
Что кроме Саши, в целом божьем мире
Никто, никто не думал о Зафире.

Однако были дни давным-давно,
Когда и он на берегу Гвинеи
Имел родной шалаш, жену, пшено
И ожерелье красное на шее,
И мало ли?.. О, там он был звено
В цепи семей счастливых!.. Там пустыня
Осталась неприступна, как святыня.
И пальмы там растут до облаков,
И пена вод белее жемчугов.
Там жгут лобзанья, и пронзают очи,
И перси дев черней роскошной ночи.

Но родина и вольность, будто сон,
В тумане дальнем скрылись невозвратно...
В цепях железных пробудился он.
Для дикаря всё стало непонятно —
Блестящих городов и шум и звон.
Так облачко, оторвано грозой,
Бродя одно под твердью голубою,
Куда пристать не знает; для него
Всё чуждо – солнце, мир и шум его;
Ему обидно общее веселье, —
Оно, нахмурясь, прячется в ущелье.

О, я люблю густые облака,
Когда они толпятся над горою,
Как на хребте стального шишака
Колеблемые перья! Пред грозою,
В одеждах золотых, издалека
Они текут безмолвным караваном,
И, наконец, одетые туманом,
Обнявшись, свившись будто куча змей,
Беспечно дремлют на скале своей.
Настанет день, – их ветер вновь уносит:
Куда, зачем, откуда? – кто их спросит?

И после них на свете нет следа,
Как от любви поэта безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не открыл вниманью дружбы нежной.
И ты, чья жизнь как беглая звезда
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразишь словами;
Ты не хотел насмешки выпить яд,
С улыбкою притворной, как Сократ;
И, не разгадан глупою толпою,
Ты умер чуждый жизни... Мир с тобою!

И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной...
И сумрачен и тесен твой приют,
И ты забыт, как часовой бессменный.
Но что же делать? – Жди, авось придут,
Быть может, кто-нибудь из прежних братьий.
Как знать? – земля до молодых объятий
Охотница... Ответствуй мне, певец,
Куда умчался ты?.. Какой венец
На голове твоей? И всё ль, как прежде,
Ты любишь нас и веруешь надежде?

И вы, вы все, которым столько раз
Я подносил приятельскую чашу, —
Какая буря в даль умчала вас?
Какая цель убила юность вашу?
Я здесь один. Святой огонь погас
На алтаре моем. Желанье славы,
Как призрак, разлетелся. Вы правы:
Я не рожден для дружбы и пиров...
Я в мыслях вечный странник, сын дубров,
Ущелий и свободы, и, не зная
Гнезда, живу, как птичка кочевая.

Я для добра был прежде гибнуть рад,
Но за добро платили мне презреньем;
Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким наслажденьем...
Тогда я хладно посмотрел назад:
Как с свежего рисунка, сгладил краску
С картины прошлых дней, вздохнул и маску
Надел, и буйным смехом заглушил
Слова глупцов, и дерзко их казнил,
И, грубо пробуждая их беспечность,
Насмешливо указывал на вечность.

О, вечность, вечность! Что найдем мы там
За неземной границей мира? – Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа; где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь природы,
Который верно создан всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей,
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)
Ужасно сам похож на обезьяну.

О, суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завладевший
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить три дня не евши.
Но полно! злобный бес меня завлек
В такие толки. Век наш – век безбожный;
Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный,
Мои слова прославит, и тогда
Нельзя креститься будет без стыда;
И поневоле станешь лицемерить,
Смеясь над тем, чему желал бы верить.

Блажен, кто верит счастьем и любовью,
Блажен, кто верит небу и пророкам, —
Он долголетен будет на земле
И для сынов останется уроком.
Блажен, кто думы гордые свои
Умел смирить пред гордою толпою,
И кто грехов тяжелою ценою
Не покупал пурпурных уст и глаз,
Живых, как жизнь, и светлых, как алмаз!
Блажен, кто не склонял чела младого,
Как бедный раб, пред идолом другого!

Блажен, кто вырос в сумраке лесов,
Как тополь дик и свеж, в тени зеленой
Играющих и шепчущих листов,
Под кровом скал, откуда ключ студёный
По дну из камней радужных цветов
Струей гремячей прыгает сверкая,
И где над ним береза вековая
Стоит, как призрак поздней порой,
Когда едва кой-где сучок гнилой
Трещит вдали, и мрак между ветвями
Отсюда смотрит черными очами!

145

Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться; кто, главой припав на гриву,
Летал, подобно сумрачному Диву,
Через пустыню, чувствовал, считал,
Как мерно конь о землю ударял
Копытом звучным, и вперед землю
Упругой был кидаем с быстротою.

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых;
Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина;
Он, в двадцать лет желающий чего-то,
Не будет вечной одержим зевотой,
И в тридцать лет не кинет край родной
С больною грудью и больной душой,
И не решится от одной лишь скуки
Писать стихи, марать в чернилах руки, —

Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства, с рабским униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подлеца, —
Искать чинов, мирясь с людским презреньем,
И поклоняться немцам до конца...
И чем же немец лучше славянина?
Не тем ли, что куда его судьбина
Ни кинет, он везде себе найдет
Отчизну и картофель?.. Вот народ:
И без таланта правит и за деньги служит,
Всех давит он, а бьют его – не тужит!

Вот племя: всякий чорт у них барон!
И уж профессор – каждый их сапожник!
И смело здесь и вслух глаголет он,
Как Пифия, воссев на свой треножник!
Кричит, шумит... Но что ж? – Он не рожден
Под нашим небом; наша степь святая
В его глазах бездушных – степь простая,
Без памятников славных, без следов,
Где б мог прочесть он повесть тех веков,
Которые, с их грозными делами,
Унесены забвения волнами...

Кто недоволен выходкой моей,
Тот пусть идет в журнальную контору,
С листком в руках, с оравой друзей,
И, веруя их опытному взору,
Печатает анафему, злодей!..
Я кончил... Так! дописана страница.
Лампада гаснет... Есть всему граница —
Наполеонам, бурям и войнам,
Тем более терпенью и... стихам,
Которые давно уж не звучали,
И вдруг с пера бог знает как упали!..

Глава II

1

Я не хочу, как многие из нас,
Испытывать читателей терпенье,
И потому примусь за свой рассказ
Без предисловий. – Сладкое смятенье
В душе моей, как будто в первый раз,
Ловлю прыгунью рифму и, потя,
В досаде призываю Асмодея.
Как будто снова бог переселил
Меня в те дни, когда я точно жил, —
Когда не знал я, что на слово младость
Есть рифма: *гадость*, кроме рифмы *радость!*

2

Давно когда-то, за Москвой-рекой,
На Пятницкой, у самого канала,
Заросшего негодною травой,
Был дом угольный; жизнь тогда играла
Меж стен высоких... Он теперь пустой.
Внизу живет с беззубой половиной
Безмолвный дворник... Пылью, паутиной
Обвешаны, как инеем, кругом
Карнизы стен, расписанных огнем
И временем, и окна краской белой
Замазаны повсюду кистью смелой.

3

В гостиной есть диван и круглый стол
На витых ножках, вражеской рукою
Исчерченный; но час их не пришел, —
Они гниют незримо, лишь порою
Скользит по ним играющий Эол
Или еще крыло жилиц развалин —
Летучей мыши. Жалок и печален
Исчезнувших пришельцев гордый след.
Вот сабель их рубцы, а их уж нет:
Один в бою упал на штык кровавый,
Другой в слезах без гроба и без славы.

4

Ужель никто из них не добежал
До рубежа отчизны драгоценной?
Нет, прах Кремля к подошвам их пристал,
И русский бог отмстил за храм священный...
Сердитый Кремль в огне их принимал
И проводил, пылая, светоч грозный...
Он озарил им путь в степи морозной —
И степь их поглотила, и о том,
Кто нам грозил и пленом и стыдом,
Кто над землей промчался, как комета,
Стал говорить с насмешкой голос света.

5

И старый дом, куда привел я вас,
Его паденья был свидетель хладный.
На изразцах кой-где встречает глаз
Черты карандаша, стихи и жадно
В них ищет мысли – и бесплодный час
Проходит... Кто писал? С какую целью?
Грустил ли он иль предан был веселью?
Как надписи надгробные, оне
Рисуются узором по стене —
Следы давно погибших чувств и мнений,
Эпиграфы неведомых творений.

6

И образы языческих богов —
Без рук, без ног, с отбитыми носами —
Лежат в углах низвергнуты с столбов,
Раскрашенных под мрамор. Над дверями
Висят портреты дедовских веков
В померкших рамах и глядят сурово;
И мнится, обвинительное слово
Из мертвых уст их излетит – увы!
О, если б этот дом знавали вы
Тому назад лет двадцать пять и боле!
О, если б время было в нашей воле!..

7

Бывало, только утренней зарей
Осветятся церковей главы златые,
И сквозь туман заблещут над горой
Дворец царей и стены вековые,
Отражены зеркальною волной;
Бывало, только прачка молодая
С бельем господским из ворот, зевая,
Выходит, и сквозь утренний мороз
Раздастся первый стук колес, —
А графский дом уж полон суетою
И пестрых слуг заботливой толпою.

8

И каждый день идет в нем пир горой.
Смеются гости, и бренчат стаканы.
В стекле граненом дар земли чужой
Клокочет и шипит аи румяный,
И от крыльца карет недвижимый строй
Далеко тянется, и в зале длинной,
В толпе мужчин, услужливой и чинной,
Красавицы, столицы лучший цвет,
Мелькают... Вот учтивый менюэт
Рисуется вам; шопот удивленья,
Улыбки, взгляды, вздохи, изъясненья...

9

О, как тогда был пышен этот дом!
Вдоль стен висели пестрые шпалеры,
Везде фарфор китайский с серебром,
У зеркала.

Примечания

Печатается по Соч. изд. «Academia» (т. 3, 1935, стр. 364—418). Стихи исправлены по черновому автографу первоначальной редакции (ГПБ, Собр. рукописей М. Ю. Лермонтова, № 34, тетрадь «Лекции из географии», лл. 57 об., 60—64 об, по выписке В. Х. Хохрякова в его тетради «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова» (ИРЛИ, оп. 4, № 85, л. 2), по журналу «Русск. мысль» (1882, кн. 1, стр. 68—120).

Беловой автограф поэмы не сохранился. Имеются лишь отрывки чернового автографа (ГПБ). Отрывки утраченной части чернового автографа, а также содержащие четыре строфы, не вошедшие в окончательный текст, были опубликованы П. А. Ефремовым с дополнениями и поправками А. Н. Афанасьева в «Библиогр. записках» (1861, № 18, стлб. 557—563). Стихи, ошибочно принятые П. А. Ефремовым и А. Н. Афанасьевым за вариант стихотворения «Памяти А. И. Одоевского», были ими опубликованы в «Библиогр. записках» (1859, № 12, стлб. 383). Текст «Библиогр. записок» напечатан по списку с утраченной ныне «Черновой тетради Лермонтова», заключавшей, кроме перечисленных выше строф, стихотворения: «Молитва» («Я, мать божия...»), «Ах! ныне я

не тот совсем», «Он был в краю святом».

Сохранившийся автограф и текст, опубликованный в «Библиогр. записках», являются фрагментами ранней черновой редакции, в целом до нас не дошедшей.

Автограф последней редакции поэмы находился в Пензе у И. А. Панафутина. Он был известен В. Х. Хохрякову, который в 1857 году взял из него несколько в качестве эпиграфа к своему труду «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова» (ИРЛИ, оп. 4, № 85, л. 2). В 1870 году И. А. Панафутин отослал автограф в Петербург для продажи в Публичную библиотеку (см. письмо В. Х. Хохрякова в Публичную библиотеку от 27 декабря 1870 г. Архив ГПБ, Дело управления, 1869, № 46, л. 16. Ср. И. Л. Андроников. Лермонтов. Обл. изд., Пенза, 1952, стр. 265). Однако покупка не состоялась, так как в канцелярии библиотеки объявили, что это произведение не Лермонтова, а Полежаева («Русск. мысль», 1882, кн. 1, стр. 67). Остается невыясненным, вернулся ли в 1870 году автограф к И. А. Панафутину или у него остался лишь список с автографа.

П. А. Висковатов узнал от В. Х. Хохрякова о местонахождении рукописи поэмы и, находясь в Пензе, в 1881 году снял копию с рукописи Панафутина (автографа или списка, не известно) и опубликовал поэму в «Русск. мысли» (1882, кн. 1, стр. 68—120). Ср. от-

дельный оттиск: Сашка. Поэма М. Ю. Лермонтова. М., тип. Кушнерева, 1882, 56 стр. с приложением печатного листа, восполняющего купюры, сделанные в тексте журнала. Имеется также копия (ИРЛИ, оп. 2, № 163), совпадающая по тексту с названным выше изданием поэмы, включая приложение и подстрочные примечания П. А. Висковатова. В двух местах текст рукописи поправлен; эти поправки («грязна» вместо «грозна», «блески» вместо «блестки») приняты в настоящем издании (впервые в Соч. изд. библиотеки «Огонек», т. 2, стр. 486).

В настоящее время утрачен не только автограф последней редакции поэмы, но также список И. А. Панафутина и копия П. А. Висковатова.

Во второй половине 1880-х годов Н. Н. Буковский, собирая рукописи для Лермонтовского музея Николаевского кавалерийского училища, сверил напечатанный Висковатовым текст со списком И. А. Панафутина. Копия поэмы, выправленная Н. Н. Буковским, послужила источником текста для Соч. изд. Академической библиотеки и для последующих изданий, вплоть до Соч. изд. «Academia». Но и эта копия, находившаяся сначала в Лермонтовском музее, а затем в частных руках, в настоящее время утрачена.

Несмотря на то, что текст, опубликованный в 1882 году, и текст, выправленный Н. Н. Буковским, восхо-

дят к автографу, находившемуся у И. А. Панафутина, между этими двумя текстами существует целый ряд весьма существенных расхождений.

Публикация 1882 года, как это отмечал впоследствии П. А. Висковатов, изобилует множеством типографских погрешностей. Кроме того, ряд мест автографа оказался неправильно прочитанным: вместо «от зноя» – «незнаемы», вместо «мамзель Aline» – «Мишель Abine», вместо «И ты забыт» – «И зябнешь ты», вместо «И всё ль» – «И весел ли» и др. В местах, трудно поддающихся прочтению, иногда произведена замена отдельных слов, а порою и целых строк в целях сохранения стихотворного. Но наиболее значительная доля разночтений объясняется изменениями, которые П. А. Висковатов вносил в текст, произвольно заменяя отдельные слова, выражения и целые строки. Сопоставление публикации 1882 года с черновыми набросками к поэме и текстом, выправленным Н. Н. Буковским, доказывает, что П. А. Висковатов устранял обороты, с его точки зрения неудобные для печати, и строки, противоречащие его собственным политическим взглядам. Есть и прямое свидетельство, обнаруживающее приемы работы П. А. Висковатова. На стр. 38 отдельного оттиска поэмы, подаренного Висковатовым А. Ф. Бычкову, имеется сноска к стиху («Чтоб поскорее осушить ей глазки»),

написанная рукою П. А. Висковатова, карандашом: «Изменено мною, что я впрочем писал в редакцию. Было: „Чтоб поскорей добратся до развязки“» (ГПБ, Собр. рукописей М. Ю. Лермонтова, № 78).

В 1889 году в Соч. под ред. Висковатова (т. 2, стр. 175–229) текст поэмы появился с некоторыми изменениями по сравнению с публикацией 1882 года. Здесь частично устранены опечатки и исправлены отдельные неверно прочитанные места (очевидно по копии, выправленной Н. Н. Буковским, а возможно, что и по автографу, о местонахождении которого глухо сказано в примечании – Соч., под ред. Висковатова, т. 2, стр. 347). В сноске к следующим стихам приведен вариант, отсутствующий в остальных списках:

Он прострелил мне руку на дуэли
И ровно месяц от моей постели
Не отходил.

Однако и издание 1889 года не дает исправного текста последней редакции поэмы. В ряде случаев Висковатов сохраняет в основном тексте фальсифицированные им места, а подлинный лермонтовский текст приводит в сносках как вариант (см. Соч. под ред. Висковатова, т. 2, стр. 210, стих 1133, а также сноски на стр. 194, 204, 205, 206, 225).

Не свободна от некоторых погрешностей и копия

поэмы, выправленная Н. Н. Буковским по списку И. А. Панафутина, положенная в основу текста Соч. изд. «Academia».

В настоящее издание по источникам, указанным в начале примечания, введены некоторые уточнения, устраняющие смысловые и ритмические искажения текста: по черновому автографу (условное обозначение Ч), тетради Хохрякова «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова» 1857 г. (X), публикации Ефремова с поправкой Афанасьева в «Библиогр. записках» 1861 г. (А), публикации Висковатова в «Русск. мысли» 1882 г. (В1), Соч. под ред. Висковатова, т. 2, 1889 г. (В2).

Стих 222. Шутя, смеясь, роскошно упадала, А
вместо: Шумя, смеясь, роскошно упадала,

Стих 510. Случайно уцелевшая и сильно В1, В2
вместо: Случайно уцелевшая, рукою сильной

Стих 541. Иван Ильич NN-ов, муж дородный В1, В2
вместо: Иван Ильич N, муж дородный

Стих 703. Пишу, что мыслю, мыслю, что придется X
вместо: Пишу, что мыслю, или что придется

Стих 720. К тому же полуночный вой собак В1, В2
вместо: К тому ж полночный вой собак

Стих 898. Иль свод небес взбунтуется, к вершине Ч
вместо: И свод небес взбунтуется, к вершине

Стих 942. Вздыхал и хоронил его прилежно Ч

вместо: Вздыхал, хранил его прилежно

Стих 970. В ней было всё, что увлекает душу В1, В2

вместо: В ней было всё, что греет душу

Стих 992. Молчит весь день и бредит в ночь; быва-

ло Ч

вместо: Молчит весь день и часто бредит ночь

Стих 994. И ждет, чтоб платье мимо прожужжало Ч

вместо: И ждет, чтоб показалась Евы дочь

Стих 1056. Боясь всего: людей, деревьев и света В1,

В2

вместо: Боясь всего: людей, деревьев, а больше света

Стих 1306. Он книгу взял, раскрыл, прочел... шу-

мят; В1, В2

вместо: Шумят... Он книги взял, раскрыл, прочел...

шумят;

Стих 1415. Вздохнул, чтоб удалась его проказа В1,

В2

вместо: Вздохнул, что удалась проказа.

Стих 1432. Меж им и Сашей был. Их разговоры В1,

В2

вместо: Меж им и Сашей был давно. Их разговоры

Стих 1446. Он долго у дверей еще стоял В1, В2

вместо: Он долго у дверей стоял

Стих 1654. Был дом угольный; жизнь тогда играла

В1

вместо: Был дом угольный; жизнь играла

При подготовке текста для настоящего издания редакция обращалась к работе Э. Э. Найдича «О тексте поэмы М. Ю. Лермонтова „Сашка“».

Прямых данных о времени написания поэмы не имеется. Однако есть основания предполагать, что Лермонтов работал над поэмой с 1835 до конца 1839 года.

П. А. Ефремов, впервые публикуя отрывки поэмы, датирует их 1839 или 1840 годом – на том основании, что в некоторых стихах главы I говорится, по его мнению, о смерти А. И. Одоевского.

Развернутая аргументация в пользу 1839 года как наиболее возможной даты написания поэмы содержится в Соч. изд. «Academia» (т. 3, 1935, стр. 602).

Датируя поэму 1839 годом, Б. М. Эйхенбаум опирался главным образом на содержание стихов, из которых следует, что Лермонтов писал эти строки в Петербурге (на «севере») и что речь идет в них о весне того года, когда Нева вскрылась особенно поздно, а на юге были морозы. В 1839 году Нева вскрылась 2 мая, и Лермонтов в это время был в Петербурге. Таким образом, этот год был признан Б. М. Эйхенбаумом наиболее возможной датой написания поэмы.

Существует и другая гипотеза, по которой поэма создавалась Лермонтовым в 1835–1836 годах. Впервые

она была высказана П. Висковатовым, ссылавшимся на свидетельство А. П. Шан-Гирея о том, что Лермонтов писал поэму во время пребывания в Тарханах (см. Соч. под ред. Висковатова, т. 2, 1889, стр. 344). 1835–1836 годами датирует поэму и И. Л. Андроников в Соч. изд. библиотеки «Огонек» (т. 2, 1953, стр. 487–489).

М. Ф. Николева в неопубликованной работе о поэме «Сашка» сообщила ряд фактов, подтверждающих предположение о том, что поэма создавалась в 1835 году. Основываясь на сведениях, содержащихся в тех же стихах, она приходит к выводу, что с наибольшей вероятностью эти сведения могут относиться не к 1839, а к 1835 году, так как и в этом году Лермонтов был в Петербурге и Нева вскрылась той весной со значительным опозданием – 28 апреля. Кроме того, газеты сообщали в 1835 году о сильных и поздних морозах на юге, в частности в Италии («Санкт-Петербургские ведомости», 1835, № 113).

Однако сообщенные М. Ф. Никелевой факты позволяют датировать лишь те строфы, на которые она ссылается, т. е. начальный этап работы Лермонтова над поэмой.

Нахождение черновых отрывков в тетради «Лекции из географии», грубовато-фривольный тон некоторых стихов, отсутствующий в более зрелых произведениях Лермонтова, также свидетельствуют о том, что по-

эма могла быть начата в период, близкий к годам учения поэта в юнкерской школе.

В то же время есть основания предполагать, что работа Лермонтова над поэмой продолжалась и в следующие годы. В этом прежде всего убеждает наличие значительно отличающихся друг от друга стадий работы первоначальной редакции, заключенной в черновых набросках тетради «Лекции из географии», а также в отрывках, опубликованных Ефремовым в «Библиогр. записках», и последней редакции поэмы, отраженной в рукописи И. А. Панафутина.

Хронологически различные периоды отразились и в самом содержании поэмы. Так, в начале главы II рассказывается о Москве накануне 1812 года с указанием на то, что события происходили «тому назад лет двадцать пять и боле», т. е. писалось это около 1837 года.

В других местах поэмы можно усмотреть косвенные отклики и на события более поздние. Вслед за воспоминаниями интимными, связанными с его юношеским чувством к В. А. Лопухиной, Лермонтов обращается мыслью к последующим годам, насыщенным «муками иными». В лирических отступлениях появляются стихи, адресованные друзьям, которых «буря в даль умчала» – «сынам свободы», посвятившим юность благородной цели. В тексте также говорится о

трагической судьбе А. И. Полежаева.

Поэт Александр Иванович Полежаев (1804–1838), будучи студентом Московского университета, приобрел широкую известность как автор поэмы «Сашка» – о жизни студенческой молодежи с ее «жаждой вольности строптивой» и «необузданностью страстей» (1825). Поэма во множестве списков разошлась по Москве и в обстановке реакции после восстания декабристов прозвучала как новый вызов правительству. За создание этой поэмы Полежаев подвергся гонениям, долгое время находился в изгнании и, сломленный жестокими репрессиями, 34-х лет умер в военном госпитале от чахотки.

Лирическое обращение к погибшему другу в строфах содержит ряд биографических сведений (смерть вдали от родных краев, упоминание о военной одежде, о большом человеческом обаянии погибшего певца), совпадающих с фактами биографии друга Лермонтова, поэта-декабриста А. И. Одоевского, умершего в ссылке на Кавказе 15 августа 1839 года. Таким образом, возможные сроки создания поэмы отодвигаются до этого времени. Некоторые стихи с небольшими изменениями впоследствии вошли в стихотворение «Памяти А. И. Одоевского», написанное в конце 1839 года.

Поэма «Сашка» в отдельных моментах автобиогра-

фична. Она отражает наблюдения и впечатления поэта, связанные с реальными фактами его жизни. Таковы строфы, повествующие о домашнем воспитании героя, о студенческих годах его жизни, о быте московского барства. Однако центральное действующее лицо поэмы, «друг» поэта – Сашка, не имеет определенного прообраза. Он не является портретом ни Александра Одоевского, ни Александра Полежаева, ни самого автора. Сашка – образ собирательный, наделенный чертами, типичными для многих современников поэта. В основе произведения Лермонтова лежит повествование о бесплодной жизни одного из «героев» современной поэту действительности. Следуя за Пушкиным, Лермонтов в форме непринужденных поэтических записок, лирических размышлений, иногда средствами иронического повествования и сатиры ставил в своей поэме те же вопросы, которые определили идейный замысел «Евгения Онегина», а в его собственном творчестве – «Думы» и «Героя нашего времени». Несомненное влияние на литературный стиль поэмы Лермонтова оказал также пушкинский «Домик в Коломне». Поэтический размер поэмы «Сашка», как и вся структура одиннадцатистроичной строфы, повторен Лермонтовым в другом его произведении – поэме «Сказка для детей», писавшейся в 1839–1841 годах. Повторяются в «Сказке для детей»

и отдельные стихи из поэмы «Сашка».

В Соч. под ред. Эйхенбаума (т. 2, стр. 504–505) высказано предположение, основанное на содержании последних стихов главы I, о том, что поэма «Сашка» – законченное произведение, состоящее из 149 строф. Вторая глава по этой гипотезе рассматривается как начало новой поэмы. Однако документальные данные, подтверждающие это предположение, отсутствуют. В дошедших до нас источниках текста в состав поэмы входят первая и начало второй главы.

Стихи посвящены Варваре Александровне Лопухиной (1814–1851).

Стих со словами «Урчит и свищет» ср. с третьей строкой стихотворения Пушкина «Соловей и кукушка» (1825 г.): «Урчит и свищет, и гремит».

Стихи

Гамлет сказал: «Есть тайны под луной
И для премудрых», – как же мне, поэту,

– цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (конец первого акта, пятая сцена, слова Гамлета в диалоге с Горацио). «Гамлет» в переводе на русский язык М. Вронченка был издан в Петербурге в 1828 году и в переводе Н. Полевого в Москве в 1837 году. Перевод Лермонтова не совпадает с названными изданиями

и, очевидно, принадлежит самому поэту. У Шекспира буквально:

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.

Есть больше вещей на небе и на земле, Горацио,
Чем снилось вашей философии.

Стихи строф 75–76. Существует предположение, что в облике маркиза де Тесс Лермонтов запечатлел черты своего гувернера Жана Пьера Келлета Жандро, французского эмигранта, роялиста по убеждениям (см. Соч. под ред. Висковатова, т. 6, 1891, стр. 36–37. Ср. Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I, Гослитиздат, М., 1945, стр. 53).

Строфы 76–80. Речь идет о событиях французской революции 1789–1793 годов, о казни короля Людовика XVI и его жены Марии Антуанетты.

Стихи строфы 79 посвящены французскому поэту и публицисту Андре Шенье (1762–1794), который в 1794 году был казнен за приверженность к королю и за деятельность, направленную против якобинского правительства. Пушкин в стихотворении «Андрей Шенье» (1825) и Лермонтов в стихотворении «Из Андрея Шенье» (1830–1831) переосмыслили историческую роль поэта и представили его как певца свободы,

проявившего высокое гражданское мужество в борьбе против тирании.

Стих 952. Фоблаз – герой французского романа «Aventures du chevalier de Faublas» («Приключения кавалера Фобласа»), принадлежащего перу Жана Батиста Луве де Кувре (1760–1797). В романе описываются развращенные нравы дворянской молодежи во Франции во второй половине XVIII века. Произведение это частями издавалось в Лондоне в 1787–1790 годах; в России появилось под заглавием «Приключения Шевалье де Фобласа» в переводе А. И. Леванды (СПб., 1792–1796). Второе русское издание под заглавием «Жизнь и приключения кавалера Фоблаза» вышло в 1805–1806 годах в Москве. Ср. у Пушкина «Фобласа давний ученик» («Евгений Онегин», глава I, строфа XII).

Строфа 118 содержит сведения, сходные с воспоминаниями о студенческой жизни А. И. Герцена, учившегося в Московском университете в те же годы, что и Лермонтов. В «Былом и думах» (т. I, гл. VII) Герцен пишет: «... наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто всё, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, за-

прещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства».

Стихи

Но все равно задумчивы, без слов
Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят;
Уходит, – втрое хуже. Сущий ад!..

Возможно, что в этих стихах содержится глухой намек на так называемую «маловскую историю», в которой участвовал Лермонтов: 16 марта 1831 года студенты нравственно-политического отделения Московского университета выгнали из аудитории невежественного профессора М. Я. Малова (см. примечание к стихотворению «Послушай, вспомни обо мне»).

К стиху

Стоял арап, его служитель верный.

в первых изданиях поэмы есть сноска П. Висковатова: «Арап этот был слугою в доме Лопухиных, близких друзей Лермонтова. Он его очень любил и в одном из писем упоминает о нем, как о друге своем». («Русск. мысль», 1882, кн. 1, стр. 111).